



КАМЕРТОН

ДЭНИ ГУБАИ

Дэни Губаи

VoxZero. Камертон

«Автор»

2026

Губаи Д.

VoxZero. Камертон / Д. Губаи — «Автор», 2026

Одиннадцать миллионов человек живут под куполом — и ни один не помнит, что такое плохой день. На запястье у каждого браслет «Согласие»: он слушает пульс, замечает грусть раньше самого человека и мягко возвращает в норму. Расстроенных здесь настраивают, как инструменты. Городом управляет система, которая искренне желает людям добра. Отказаться от её заботы нельзя — некуда и незачем. Так считают почти все. Ки — подросток из благополучной башни: ровный пульс, правильные баллы. Пока однажды прямо на улице не уводят его девушку — вежливо, по протоколу, для её же блага. Ариадна — советник города; она живёт наверху, где террасы, свет и тишина хорошо оплачены. Однажды ей передают подарок и записку, адресованную имени, которого она не слышала с детства. С этого дня оба начинают слышать то, чего в городе быть не должно.

© Губаи Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
Глава 1. Путь к Совершенной Гармонии	6
Глава 2. Оптимум	10
Глава 3. Кабинет	15
Глава 4. Угл 62	19
Глава 5. Тишина 1.01 alpha	25
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Дэни Губай
VoxZero. Камертон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗИМА

Глава 1. Путь к Совершенной Гармонии

Лгать одиннадцати миллионам оказалось делом техники, и техникой Ариадна владела безупречно.

Техника была в дыхании. Вдох на четыре счёта перед сложным словом, чтобы голос не сел; пауза не там, где кончается мысль, а там, где зрителю нужно поверить; улыбка, начинающаяся в глазах за полсекунды до губ, потому что улыбка, начавшаяся с губ, выдаёт ложь даже настроенным, а настроенные, вопреки общему мнению, не глупы — они просто согласились не замечать. Ариадна не лгала словами. Слова были чужие, выверенные, прошедшие три отдела; в словах лжи не было, в словах была политика. Ариадна лгала телом — тем, как тело говорило «я в это верю». Этому нельзя научить. С этим, как ей однажды сказали, надо родиться или быть сделанной.

— Тридцать секунд, — произнёс голос режиссёра, тёплый, у неё в ухе.

Студия «Гармония Медиа» была построена так, чтобы в ней нельзя было нервничать. Свет шёл отовсюду и не отбрасывал теней — у Ариадны под этим светом не было тени уже двенадцать лет, с тех пор как её, четырнадцатилетнюю, впервые посадили за этот стол, и она привыкла к себе бестеневой, как привыкают к ампутации. Воздух держали на той температуре, при которой тело забывает, что у него есть граница. Перед ней, на месте камеры, мягко горел зелёный огонёк — не красный, красный тревожит, у них всё было зелёным, эфир, согласие, разрешение жить. А справа, вне кадра, на матовой панели тихо дышала кривая её голоса — тонкая светящаяся дорожка, которую система вела рядом с ней в реальном времени и подправляла, если Ариадна выходила из ровного: не грубо, шёпотом, добавляя в наушник чуть-чуть тона, чтобы она сама, не замечая, возвращалась в строй. Её настраивали, пока она проповедовала настройку. Она знала это и давно перестала об этом думать, как перестают думать о сердце, которое всё равно стучит без спроса.

— Двадцать.

Кроме неё, в студии не было ни одного человека — ровный свет, гладкие панели, и она одна за столом, в кадре, как одинокая мысль в чьей-то ухоженной голове. Но Ариадна знала, что пустота эта обитаема. Где-то за этими светлыми, без единого шва стенами сидел режиссёр, чей тёплый голос приходил ей в ухо; рядом с ним — люди, которых она никогда не видела при свете, но чувствовала спиной. Они, впрочем, ничего и не решали. Её кривую — тонкую дорожку голоса, которую подправляли в реальном времени, — вёл не человек. Её вёл САЦИ: это его незримая рука на полтона приподнимала ей звук, возвращая в строй, это он знал её голос лучше неё самой. А люди за стенами лишь смотрели, как он работает, сверяли показания, кивали; они были при машине, как Смотрители при исправном механизме, — нужные, чтобы было кому кивать, и не нужные ни для чего больше. А над всеми ними, ещё дальше, в кабинете, куда Ариадна не была вхожа, сидел тот, кто всё это построил, — она не называла его даже про себя, у него не было лица, было только присутствие, ровное и огромное, как давление воздуха. Архитектор. Он не вмешивался в эфир. Ему не нужно было: он один раз настроил всё так, чтобы оно настраивало само себя. И теперь только смотрел, как смотрят на исправно идущие часы. Иногда Ариадне казалось, что он смотрит и на неё, отдельно, дольше, чем на других. Она гнала эту мысль. Думать о нём было всё равно что оборачиваться в темноте на чужой взгляд, которого, может, и нет.

— Десять.

Под столом, где не доставал ни один объектив, Ариадна сжала левую руку в кулак. Это она делала всегда. Годами она объясняла себе это так: вот тут, под столешницей, прячется то, чего им не отдать. Свободная рука. Маленькая судорога, которой не видит ни камера, ни

кривая, ни САЦИ. Её личное, тайное, единственное «нет», спрятанное в кулаке, пока лицо говорит «да». Она держалась за этот кулак, как держатся за поручень.

— Три. Два.

Зелёный огонёк не сменился — он стал чуть ярче и просто стал значить «сейчас».

— Добрый вечер, — сказала Ариадна, и голос её вышел тёплым, ровным, родным одиннадцати миллионам. — Многие из вас сейчас садятся ужинать — в один и тот же час, всем городом, как и положено. Это хорошо. Это и есть лад: когда город дышит в такт. Приятного вечера вашему столу. — Она выдержала тёплую паузу. — Я знаю, многие из вас устали. Держать строй — труд. Никто не говорит вам спасибо за то, что вы каждый день выбираете быть в ладу. Я говорю. Спасибо.

Так начинали всегда — с благодарности за то, чего у людей не спрашивали. Это обезоруживало. Нельзя бунтовать против того, кто тебя поблагодарил.

— Я знаю, иногда цена кажется вам высокой, — продолжила она. — Тон, который надо держать. Вопросы, которые лучше не задавать вслух. Но вспомните, чем платили до нас.

Ваши прадеды называли себя свободными — и всю жизнь не знали покоя. В голове у каждого день и ночь стоял шум: тысяча чужих мнений, тысяча тревог, тысяча «а вдруг». Они могли сказать что угодно кому угодно. И говорили, все разом, день и ночь, и захлёбывались собственным криком, и никто никого не слышал. Они были вольны — и оттого одни. — Короткая пауза, не там, где кончилась мысль, а там, где зрителю нужно было успеть согласиться. — Свобода оказалась просто другим именем тревоги.

А ещё они не умели жить в мире друг с другом. То, что система потом назвала одним стерильным словом — Конфликт, — начиналось у них без объявления и не умело кончаться: вспыхивало само, тлело годами, втягивало всех. Конфликт начинался без них и кончался без них, а между началом и концом — Ариадна выдержала паузу, длинную, на счёт «два», и боковым слухом уловила, как её кривая справа качнулась вниз и система мягким полутонem при-держала ей голос, — а между началом и концом под обломками этого Конфликта засыпали дети.

Сегодня ваши дети спят в безопасности. Их никто не отнимет, не призовет, не похоронит под великой идеей. Они просто спят. — Пауза, тёплая. А за её спиной мягко потеплел свет экрана, заливая студию ровным золотом, будто сами слова теплели. — Мы научились лечить тот давний шум. Мы выровняли мысли — и тревога ушла. Там, где у ваших прадедов гудело, у вас тихо. Там, где они метались поодиночке, вы идёте вместе, в один такт, и никто не лишний. Мы не просим у вас идей. Не просим веры. Мы просим самую малость — просто тон. — И снова пауза, последняя, точная. — Разве это дорого — за то, чтобы в голове наконец стало тихо? Чтобы рядом был кто-то в том же ладу? Чтобы дети спали?

Цифры той давней беды приходили из того же отдела, что и весь остальной текст, и Ариадна, повторявшая их из эфира в эфир, давно не знала, сколько в них правды и сколько — нужной дозы. Знала только, что без них дальше не верят, а с ними соглашаются; и что историю, как и тон, кто-то, должно быть, тоже ведёт рядом тонкой светящейся кривой и подправляет, едва та выходит из ровного.

— Сегодня я хочу поговорить о слове, которого многие боятся. Настройка.

Она выдержала паузу — ту самую, не там, где кончается мысль.

— Его произносят шёпотом, как диагноз. А ведь Настройка — не наказание. Не кара. Не то, чем матери пугают непослушных. — Она чуть подалась к камере, по-доброму, как подаются к ребёнку, который навывдумывал себе чудовищ под кроватью. — Настройка — это высшая форма заботы.

И на слове «забота» её голос упал.

Не сильно. На семь процентов ниже опорной — она знала эту цифру, она слышала кривую боковым слухом, видела, как тонкая дорожка справа дрогнула вниз и тут же выровнялась,

как система в наушнике на полтона приподняла ей следующий звук, возвращая в строй. Семь процентов. Полтона вниз на «заботе» — будто не им она это говорила, а себе, будто это ей самой надо было, чтобы кто-нибудь наконец убедил её, что забота — это забота.

И Ариадна не знала, сделала ли она это нарочно — или не осознавала вовсе.

Вот что было невыносимо — не ложь, ко лжи она привыкла, ложь была работой. Невыносимо было то, что она не помнила решения уронить голос. Кулак под столом сжался сам. Голос осел сам. И если они сами — то чьи они, эти «сами»? Её собственное тело, тайно несогласное, прятавшее своё «нет» под столешницей? Или то, другое, что вложили в неё двадцать лет назад, шестилетней, в белой комнате, — а потом, когда ей было четырнадцать и душа ребёнка ещё не затвердела, поставили под этот свет и научили улыбаться из глаз; вложили вот это самое: здесь урони голос, здесь дай им трещину, в которую они тебя полюбят, потому что за идеально ровным диктором не пойдёт никто, а за диктором, который сам, кажется, чуть сомневается, пойдут все. Идеальную ложь говорит тот, кто не знает, что лжёт. Идеальное сопротивление оказывает тот, кто не знает, что его сопротивление — в счёте.

Она не могла отличить свой кулак от их расчёта. И с каждым эфиром различить становилось всё труднее, потому что оба — и кулак, и расчёт — вели себя совершенно одинаково: молчали под столом и роняли её голос на добрых словах.

— ...и потому, — говорила она тем временем, безупречно, пока та, другая Ариадна об этом думала, — мы возвращаем оступившихся не в тюрьму. Мы возвращаем их домой. К себе. В согласие.

За её спиной, на стене в полкадра, засветился экран, и на нём появился образец — так это называлось во внутренних бумагах, образец, в эфире говорили «один из вернувшихся». Молодая, очень молодая, в мягком свете, с лицом гладким и спокойным, как поверхность воды, которую ничто не тревожит снизу. Она улыбалась. Глаза у неё были в полном порядке — и в полном порядке было то, что за ними не было ничего, ни страха, ни радости, ни самого человека, которого там полагалось бы застать; человека аккуратно вынесли, как выносят мебель из квартиры перед ремонтом, и оставили чисто прибранную пустоту с улыбкой.

— Спасибо, что не бросили меня в хаосе, — сказала вернувшаяся ровным, плоским голосом, в котором не дрожала ни одна струна. — Раньше мне было так больно. Теперь мне хорошо. Теперь я в ладу.

Ариадна смотрела на неё и держала лицо. Где-то — она знала это, хоть и не видела, — сейчас, в эту секунду, в тёмных углах сети, в чате «Тишина», который ловили на ворованных частотах те, кого ещё не вынесли из самих себя, кто-то писал: «гляньте на её глаза. там же никого». И кто-то отвечал: «не на её. на глаза диктора гляньте. диктор-то всё видит». «а диктору ЛАД глаза не правит?» — «ЛАД правит голос. глаза она пока держит сама». Они звали машину по-своему, по-уличному — ЛАД, коротко, как кличку дворового пса; в её мире, наверху, у машины было другое имя, длинное и почтительное, и от этого зазора Ариадне всегда делалось не по себе, будто речь шла о двух разных существах. И Ариадна, которой полагалось ненавидеть этих людей, уличающих её в том, что она ещё жива, — Ариадна почему-то берегла их, как берегут единственных свидетелей того, что ты ещё есть. Они видели её трещину. Значит, трещина была. Значит, было чему треснуть.

Если только и эта мысль не была заложена. Если только надежда, что её видят, не была последней, самой тонкой строкой в её настройке: пусть думает, что сопротивляется, — сопротивляющийся работает усерднее.

— Помните, — сказала Ариадна, и это была последняя фраза, после которой шла заставка, мягкая музыка и обязательная минута тишины для «осмысления». — Дисгармония — не ваша вина. Но согласие — ваш выбор. Берегите свой тон. Берегите близких. И если близкий сбился — не отворачивайтесь. Запишите его на Настройку, пока он не записал себя сам, когда будет поздно.

Она улыбнулась — из глаз, за полсекунды до губ.

— Доброй ночи. Будьте в ладу.

Зелёный огонёк померк.

— Чисто, — сказал режиссёр в ухо, без выражения, что у них значило «хорошо». — Идеально чисто. Спасибо, Ариадна.

Свет в студии чуть притух, отдавая её обратно теням, которых у неё не было. Кривая справа погасла. Ариадна посидела ещё секунду, разжала под столом кулак — пальцы затекли, на ладони остались четыре белых полумесяца от ногтей, единственное доказательство, что рука вообще была сжата, единственная улика. Она смотрела на эти полумесяцы и думала то, что думала после каждого эфира в последнее время и о чём не говорила никому, потому что сказать было некому: что доказательство сжатого кулака есть, а доказательства, что сжала его она, — нет и не будет.

Помощница принесла воду и сказала, что отец ждёт её наверху, к чаю.

Ариадна встала и надела лицо — то самое, ровное, светлое лицо города, которое знали одиннадцать миллионов и за которым не было видно ничего. Она научилась этому раньше, чем говорить, — или её научили, она не помнила; в том и беда, что она не помнила ничего раньше белой комнаты, а всё, что человек не помнит, легко выдать ему за его собственное.

Она пошла к лифту, унося на ладони четыре бледнеющих полумесяца, и они гасли по дороге, как огни города, который укладывают спать.

Глава 2. Оптимум

Тем же вечером, на двадцать первом этаже — первом этаже среднего класса, у самой его нижней кромки, — и целым миром ниже башни, семья Ки садилась ужинать под ту же самую трансляцию. Она шла со стены — вся стена в их гостиной была экраном, его не выключали, его приглушали, как приглушают свет, но не гасят, потому что гостиная без Эфира — это гостиная, в которой люди могли бы заговорить о чём попало. Сейчас со стены, огромное во всю её ширь, смотрело лицо женщины с самым спокойным лицом города. Красивое лицо — но красотой ровной, выверенной, без единой лишней чёрточки: гладкая высокая скула, прямой тонкий нос, брови спокойными ровными дугами, ни выше, ни ниже, чем нужно. Тёмные волосы убраны мягко и строго, волосок к волоску, так что хотелось проверить, настоящие ли. И глаза — серые, светлые, большие, глядящие прямо на тебя с тёплым вниманием, в котором, если всмотреться, не было дна; глаза, которые смотрели на одиннадцать миллионов сразу и ни на кого. Она говорила про тон, который надо беречь, и Ки, накрывая на стол, поймал себя на том, что узнаёт её, как узнают погоду: она была всегда, как дождь, как ЛАД, как «Согласие» на запястье.

Это был обычный вечер, и в этом было всё дело. Отец вернулся с работы в семь, как всегда; снял пиджак, повесил ровно; спросил, не глядя, «как тон», и Ки сказал «нормально», как всегда. Мать разогрела ужин. Эль раскладывала приборы и считала вслух — «один, два, три, четыре». Почти семья. Если не вслушиваться в то, что говорила стена. И Ки, глядя на них, на отца, на мать, на сестру, на этот накрытый стол, поймал себя на странном: а что он, собственно, чувствует ко всему этому? К ним? Полагалось — тепло, родство, что-то простое и тёплое, как у всех. Он вслушался в себя — и не нашёл названия тому, что было. Что-то было. Но было ли это тем, что зовут семьёй, — он не знал.

— Сделай погромче, — сказал отец, не поднимая глаз.

Отец ел стоя, у кухонной стойки, и одновременно работал — перед ним в воздухе висела бледная голопроекция таблиц, и он пролистывал их одной рукой, а другой отправлял в рот «Оптимум», бежевый питательный брикет, который не надо жевать и над которым не надо думать, что ешь. Он не был злым человеком. Это Ки знал точно и от этого тосковал сильнее всего: отец был добрым — ровно, эффективно, без перебоев. Он любил сына так же, как делал всё: по-деловому. «Твой тон за неделю просел на четыре пункта, — сказал он Ки три дня назад, ласково, кладя руку на плечо. — Я записал тебя на консультацию. И заказал тебе „Ровный“, малую дозу, он в шкафчике. Просто прими. Мне будет спокойнее». Любовь у отца имела вид расписания, и в этом расписании Ки был строкой, которая выбивалась из графика.

— ...Настройка — не наказание, — говорила стена. — Это высшая форма заботы.

И Камертон в Ки тихо заныл.

Он не знал другого слова для этого, кроме того, что дал ему когда-то рисунок отца Лилы, — Камертон. Что-то в нём, под рёбрами, где-то в районе сердца, отзывалось на фальшь, как ноет зуб на сладкое, как сводит скулу. Когда женщина на стене сказала «забота», голос её на чём-то едва заметно дрогнул, упал и тут же выправился. И у Ки внутри в ответ дёрнулась та же струна, коротко, болезненно, будто он один в комнате расслышал в этом ровном тёплом голосе ту же трещину, что была в нём самом. Он замер с тарелкой в руках. Никто больше не заметил. Конечно, никто.

И всё же Ки смотрел на отца и видел: тот не пустой. Вот отец задержался взглядом на какой-то строке в таблицах, нахмурился — на секунду, на живую, человеческую секунду, будто что-то ему не понравилось, будто хотел не согласиться, — и Ки увидел, как на отцовском запястье «Согласие» дрогнуло, поползло из ровно-зелёного к жёлтому, к краю. И тут же отца будто тронуло изнутри что-то холодное: лицо его на миг сделалось встревоженным, неудобным,

словно он вспомнил о чём-то страшном, чего лучше не трогать. И он отвёл глаза от строки, отступил от своей же мысли, как отступают от края, и браслет послушно позеленел обратно. Отец моргнул, поискал глазами, за что зацепиться, — и зацепился за стену, за тёплый эфир, выдохнул. Несогласие не подавили. Его просто сделали страшным. И отец сам убежал от него в безопасное, и не заметил, что бежал. Ки видел это сто раз и всё равно не привыкал. Так это и работало — не цепью, а тем, что у самого края тебе делалось так тревожно, что ты сам, своими ногами, уходил назад. И отец уходил. И мать.

— Логично, — сказал отец таблицам, уже спокойный. — Эффективно. — Это были два его высших слова, ими он благословлял мир. А потом, отложив проекцию, вдруг сказал теплее, мечтательнее, чем говорил обычно: — Слушайте. Если этот квартал вытянем все четверо — по тонам, по показателям, — нас могут включить в поездку. За город. Туда. — Он не отрывал глаз от чего-то поверх стены, чего там не было. — Дают только тем, кто держит зелёное. Заслуженным. Нам однажды уже повезло — помнишь, Ки, тот раз? — Голос его сделался совсем тихим, мечтательным. — А теперь, если выйдем в показателях, сможем снова. Заслужим. Я хочу свозить вас опять на море. Остров. Тёплый ветер. Только мы и почти никого вокруг. Как тогда. Помнишь?

Ки помнил.

И на одно мгновение гостиная пропала, и он был маленьким, ему было лет восемь, и было то место — остров, белый песок, такая синяя вода, какой не бывает в городе, тёплый ветер. Они были втроём — он, мама, папа, ещё до Эль. Папа смеялся, не по делу, просто так, подбрасывал его, и Ки визжал от счастья и не боялся, потому что папины руки. Мама пела — своим голосом, живым, чуть фальшивым, не из Эфира, — и солнце садилось в воду, и не было никаких таблиц, никаких тонов, был только тёплый огромный мир и двое самых живых людей на свете, его людей. Он за это держался.

Тогда они и жили ниже — на тринадцатом, в тесной квартирке у самой земли, до того как отец выслужил подъём на двадцать первый, к среднему классу, к виду из окна. Ки не умел объяснить почему, но ему всё чаще казалось, что там, внизу, в той тесноте, было больше живого, чем здесь, на чистой высоте; что родители смеялись чаще, когда до земли было ближе. Может, ему просто было восемь. Может, дело в чём-то ещё, чего он не понимал. Он не знал. Просто помнил, что внизу было теплее.

И — на самом краю воспоминания — что-то не сходилось. Ки не мог поймать что. Он помнил остров, помнил «природу», синюю воду, песок — но не помнил, как они туда ехали; то есть помнил поезд-капсулу, тихую, гладкую, помнил, что смотрел в окно. А что было за окном, не помнил, там был провал, как стёртое место. И ещё: браслеты. Даже там, на острове, у всех были браслеты, и они светились ровным ярким зелёным, всё время, даже когда мама пела, даже когда папа смеялся, — вечнозелёные, но ярче, чем сейчас. Ки потянулся к этой мысли, к этому несовпадению — почему он помнит рай, но не помнит дороги в него; почему даже в раю были браслеты, — потянулся и не достал, не было чем достать, мысль выскользнула. Просто осталась смутная, неуютная заноза: а был ли тот рай. А видел ли он его — или ему его показали, как показывают всё.

Он не знал. Не мог знать. И отпустил, потому что отец смотрел и ждал.

— Помню, пап, — сказал Ки. — Было хорошо.

— А мне и сейчас хорошо, — сказала вдруг Эль, не поднимая глаз от тарелки, ни к кому.

И это была правда. И в этом был весь ужас: ему правда хотелось туда, в покой, в тёплое, где не болит. Ему было семнадцать, и в семнадцать положено спорить с отцом — лезть на рожон, ставить своё, ломать чужое «надо», доказывать, что ты не такой; и этот возраст, этот колючий бунтарский дух в нём был, никуда не делся, и обычно Ки смотрел на отца именно так — ошетинаясь, готовый возразить. Но не сейчас. Сейчас он смотрел на отца и — понимал его. Сам, больше всего на свете, хотел бы, чтобы внутри стало тихо, чтобы Камертон замолчал,

чтобы можно было, как все, просто есть тёплый «Оптимум» и ждать поездку на море. Соблазн был не снаружи. Соблазн был в нём самом, и это пугало сильнее всего.

Мать накрывала рядом. На тарелках было мясо с овощами — настоящее, не брикет; но поверх, как требовалось, как делали в каждом доме, был ровным слоем рассыпан «Оптимум плюс» — обязательная приправа, которую добавляли ко всему, к любому блюду, всегда. Без неё было нельзя — так писали, так советовали, так делали все. И лицо у матери было занято — она подстраивала его под лицо женщины на стене, как подстраивают часы по точному сигналу: та улыбалась тепло — и мать теплела; та делалась серьёзной — и мать серьёзна. Ки давно за ней это замечал и давно не понимал, осталась ли где-то под этим подстроенным лицом мама, та, что пела на острове своим живым кривым голосом, — или её тоже аккуратно вынесли, как мебель, и оставили чисто прибранную улыбку. Но иногда. Иногда что-то проступало.

Проступило, когда стена сказала про детей.

— ...их прадеды хоронили детей под обломками, — говорила женщина на стене, и голос её на миг налился тихой скорбью, — а сегодня ваши дети спят в безопасности. Их никто не отнимет, не призовет, не похоронит под великой идеей. Они просто спят.

И мать Ки вдруг остановилась. Просто остановилась, с вилкой в руке, на полпути к столу. На слове «хоронили» по лицу у неё прошло что-то, чему Ки не знал названия, — какая-то судорога, тень, будто внутри, под прибранным, кто-то на секунду подошёл к окну и посмотрел наружу, на что-то своё, болящее; и на запястье у неё «Согласие» дрогнуло и поползло в жёлтое — тело выдало то, что поднялось в ней, помимо неё. Ки увидел этот жёлтый и затаил дыхание. Но мать увидела его тоже. И испугалась — не браслета, а того, что вышла из ровного, что её жёлтое сейчас все заметят, — и Ки видел, как она с усилием, торопливо, заталкивает поднявшееся обратно, давит в себе, заливает покоем, думает изо всех сил о хорошем, о безопасном, о том, что детям хорошо; и на словах «в безопасности» браслет у неё вспыхнул зелёным — ярким, сильным, гуще обычного, через край, — таким зелёным, какой бывает не от покоя, а от того, сколько покоя пришлось в себя влить, чтобы погасить тревогу. Она передавила. Сама. И этот яркий, залитый зелёный — Ки поймал, кольнуло — был точь-в-точь как те, на острове. Вечнозелёные. Перелитые через край. Лицо у матери вернулось. Она донесла вилку до стола.

— Мам, — тихо сказал Ки.

— Всё хорошо, милый, — ответила она, и улыбнулась улыбкой из Эфира, и Ки понял, что окно закрылось, и тот, кто подходил, ушёл вглубь.

Эль ела аккуратно. Ей было восемь, и она была идеальная. И Ки, глядя на неё, вдруг понял то, чего раньше не складывал: Эль не мёртвая. Эль просто счастливая. Ей хорошо — оттого, что в семье покой, что никто не ссорится, что мама улыбается и папа дома; ей хорошо ровно так, как было хорошо ему самому на том острове, когда он был маленьким и не умел видеть. Эль не притворялась. Эль ещё не слышала в себе никакого Камертона, ей нечем было расслышать фальшь, и оттого она была счастлива по-настоящему, детским, целым счастьем человека, которому пока не дали понять. Это был он. Эль была он — до того, как услышал. И от этого защемило сильнее, чем от всего мёртвого в этом доме: не оттого, что сестра — программа, а оттого, что сестра — счастливый ребёнок, которого однажды или разбудят и станет больно, как ему, или не разбудят никогда. Ки не знал, что страшнее. Она повторяла за стеной, не отрываясь от еды, ровным детским речитативом, как песенку, которую любишь:

— Тон. Согласие. Забота. — И её кукла, маленький домашний робот с лицом девочки, повторяла за ней эхом, на полтона выше: — Тон. Согласие. Забота.

— ...и если близкий сбился, — сказала женщина на стене, мягко, почти нежно, — не отворачивайтесь. Запишите его на Настройку, пока он не записал себя сам.

— Слышишь? — сказал отец, и впервые за вечер посмотрел на Ки. Не зло. С заботой. С той самой, эффективной. — Это правильно. Это про любовь, Ки. Не отворачиваться — это и есть любовь. — Он сказал это, и вернулся к таблицам, и не заметил, что только что,

при сыне, под одобрительный кивок, согласился, что записать сбившегося — правильно; не заметил, потому что не подумал, что строка, которая выбивается из графика, сидит за этим самым столом и держит тарелку.

Ки сел. Поел сколько смог. Ужин был без вкуса — то есть на вид он был другой, чем вчера: вчера рыба, сегодня мясо, завтра будет курица, — а на вкус всегда одно и то же, потому что поверх всего лежал «Оптимум плюс», и он перебивал собой любую еду, сводил её к себе, так что мясо, рыба, овощи — всё имело один и тот же привкус, тёплый, никакой, как у тёплой бумаги. Город ел каждый день разное на вид и одно и то же на вкус и не замечал этого. На стене пошла заставка, мягкая музыка, и голос объявил минуту тишины для осмысления, и все замолчали — отец над таблицами, мать над прибранным лицом, Эль над пустой уже тарелкой, её браслет ровно-зелёный, кукла рядом ровно-зелёная, — и в этой назначенной тишине, в которой полагалось осмыслять заботу, Ки физически услышал, как фальшивит вся его семья, весь дом, весь этаж, вся башня вниз до земли: огромный хор, поющий чисто и насквозь мёртво, и он один в этом хоре звучал не в той тональности, и от этого болело так, что хотелось прижать ладонь к груди.

Минута тишины кончилась. Стена снова заговорила.

Ки встал, сказал, что устал, что пойдёт к себе. Отец кивнул, не отрываясь: «Прими „Ровный“ перед сном. Малую дозу. Мне будет спокойнее». Мать улыбнулась из Эфира. Эль сказала «доброй ночи, в ладу», и кукла повторила «в ладу», и Ки вышел.

Он пошёл к себе, но там не задержался.

В своей комнате, в нижнем ящике, под вещами, у него лежали две вещи, которых не было ни у кого в этом доме, ни у кого в этой башне, может быть, ни у кого в городе. Маленький чёрный носитель — Лиля записала ему туда звуки, каких он не слышал больше нигде и никогда: не музыку Эфира, не мелодии с площадей, а что-то совсем иное, незнакомое, не звучащее ни на одном уровне города, — голоса и струны какого-то другого, давнего мира, под которые нельзя было оставаться ровным. И её разбитый карандашный рисунок — камертон, протыкающий «Согласие». Ки взял носитель в карман и постоял, держа в руке рисунок, и подумал о Лиле. И Камертон в груди впервые за вечер не заныл, а отозвался иначе, тепло, чисто, как отзывается на звук камертона струна в лад. Он подумал о её улыбке — кривоватой, ненастроенной, живой, — о том, как она шурится, когда рисует; о том, что рядом с ней ему не надо держать тон, не надо ничего держать, можно просто быть, и Камертон не болит. Он вспомнил, как она однажды сказала ему про эту штуку внутри: «это не поломка, Ки. Это ты живой. Это в тебе не сломалось то, что у них у всех сломали». И как от этих слов ему сделалось не страшно, а наоборот — будто кто-то впервые назвал его не бракованным, а целым.

Он спрятал рисунок обратно под вещи, носитель оставил в кармане и тихо вышел — из комнаты, из квартиры, где стена всё ещё бормотала ровным голосом, где отец сидел над таблицами, мать над прибранным лицом, а Эль уже спала или делала вид, — вышел в гулкую тишину этажа, к лестнице, в город.

Внизу лежал город, ровный, зелёный, спящий под чужой колыбельный голос, и где-то там был один живой человек, к которому он мог прийти и не фальшивить, единственный, рядом с кем Камертон не болел, а звенел.

Он не пошёл к лифту — в лифте «Согласие» считывалось на входе, и камера запоминала, кто и когда спустился. Он вышел на лестницу — глухую аварийную лестницу, которой не пользовался никто, потому что зачем, когда есть лифт; гулкий бетонный колодец, ничей, без экранов, без датчиков, тянущийся вниз через все этажи. Эту лестницу Ки знал давно — свою тайную тропу, как, наверное, знала её вся городская молодёжь, которой нужно было иногда исчезнуть с глаз. Окно на площадке было настоящим — не Эфир, — и в лицо ему ударил ветер, холодный, ничей, не подобранный под его карту сна. Чистого, верхнего ветра тут не было. Тут пахло живым.

А ещё пахло дождём.

И пока Ки спускался гулкой лестницей, а потом шёл вниз и вбок — по переходам-перемычкам между домами, по эскалаторам, мимо подвесных площадей с их большими экранами, где Эфир говорил даже ночью, — пробираясь уровень за уровнем туда, в другой конец города, к Лиле, не зная ещё, что идёт к ней в последний раз, — над всем этим, над ровными зелёными огнями башен, над подвесными площадями и перемычками, над одиннадцатью миллионами спящих в один такт, собиралось то, чего не было в вечернем прогнозе. Тучи шли не по расписанию. Они копились низко и тяжело над городом, привыкшим к дождю по часам, к дождю, объявленному заранее. А этот собирался сам, никем не объявленный, и не спросил никого.

Если смотреть сверху — а кто-то, может, и смотрел, — город лежал внизу огромный, многоярусный, чистый, прибранный, как студия, в которой выключили эфир: ни пятна, ни складки, ни лишнего звука. Идеальный. Ярусы его уходили вниз уступами, и на каждом была своя жизнь: подвесные скверы с подстриженной зеленью, парки, где деревья стояли ровными рядами; и каналы — узкие водные улицы, пущенные прямо по уровням, между домами, с тёплой подсветкой по берегам. Днём по этим каналам скользили лодки — можно было сесть в любую и доплыть куда нужно, тихо, без спешки, мимо парков и скверов, и это было красиво, по-настоящему красиво, насколько вообще бывает красивым то, что устроено идеально. Сейчас, ночью, лодки стояли неподвижно у причалов, вода была чёрной и гладкой, и нигде ни души. И где-то в этих сияющих, спящих ярусах, по гулкой аварийной лестнице двадцать первого этажа, спускался один долговязый семнадцатилетний парень, и в кармане у него лежали звуки, которых в этом городе не звучало нигде, — единственная неровность на гладком, единственное живое пятнышко, ползущее туда, где его ждали.

А сверху уже падали первые капли. Настоящие, тяжёлые. Те, что однажды — не сегодня, но однажды — собираются, копят и идут, чтобы смыть с улиц всё, что на них налипло. Дождь, которого никто не звал. Дождь, который всегда приходит сам. Ки поднял воротник и пошёл быстрее.

Глава 3. Кабинет

А тем временем — в той же ночи, в том же городе, только в самом его сердце — вверх поднимался другой человек.

Если тот, первый, был единственной живой неровностью, что ползла по дальним ярусам вниз, к земле, к теплу, — то этот двигался наперекор, вверх, в самом центре города, где над всеми площадями и каналами поднималась одна-единственная башня, выше прочих, и в ней — всё выше, туда, где город кончался и начиналось небо. Их было двое в эту ночь, идущих по своим лестницам в разные стороны: один на дальней окраине ярусов, у самой земли, другая — в сердцевине, у вершины. Они не знали друг о друге, и между ними лежал весь город, спящий в один такт. Один спускался к тому, что любил. Другая поднималась к тому, кто её сделал.

Помощница передала коротко: отец ждёт. Не «просит зайти», не «когда будет удобно» — ждёт. И Ариадна, ещё не сняв студийного лица, пошла к лифту.

Кабинет отца был выше. Всё в этой башне — той, что поднималась над городом, над его площадями и каналами, отдельно от жилых высоток, — было устроено по высоте: чем выше, тем ближе к сердцу. Внизу студии, монтажные, залы, где готовили Эфир. Над ними — аппарат, тихие коридоры, где никто не повышал голоса. Ещё выше — отец; высоко, под самой вершиной, но не на ней. А на самой вершине, ещё выше отца, у сердца башни — Кронос, которого Ариадна почти не видела, тот, к кому она не поднималась никогда; туда, на верхний этаж, ход был не для неё. Она ехала к отцу — высоко, но не на самый верх. Лифт считал её на входе — она привычно поднесла запястье, и «Согласие» мигнуло зелёным, пропуская. Кабина пошла вверх, мягко, без толчка, и города в окне становилось всё меньше, а неба всё больше. Этажи сменялись тихими табло. Людей почти не было: чем выше, тем безлюднее, тем чище, тем ровнее свет. На одном из ярусов в лифт вошла женщина в строгом — кивнула Ариадне с той ровной приветливостью, что наверху заменяла всё, и вышла через этаж, не сказав ни слова. Двери закрылись. Ариадна поднималась дальше, одна.

Странно было то, что она всякий раз замечала и всякий раз отгоняла: чем выше она поднималась, тем тише делалось не вокруг, а в ней. Будто с каждым этажом из неё выходил воздух. Внизу, в студии, ещё что-то дрожало — остаток эфира, кулак под столом; здесь, наверху, всё это разглаживалось само, как складка под утюгом, и к отцовской двери она приходила уже ровной, гладкой, пустой. Она привыкла объяснять это волнением. Здесь просто не было сил волноваться. Здесь вообще будто не было сил.

Дверь открылась прежде, чем она тронула её.

Отец заваривал чай сам, и в этом был весь он. В башне, где лифт привозил кофе раньше, чем ты успеваешь его захотеть, где еда выходила из стены тёплой и просчитанной до калории, где даже воздух подбирали под её, Ариадны, карту сна, потому что так значилось в строке напротив её имени, — здесь, на самом верху, над городом, отец грел воду в старом железном чайнике. Сутулился над ним. Слушал. Будто вода могла проговориться, и он не хотел пропустить.

— Терпение и труд, — сказал он, не поворачиваясь к ней, и снял чайник ровно за миг до того, как тот закричал. — Дальше сама.

— Всё перетрут.

— Перетрут. — Он разлил по чашкам, и пар поднялся между ними тонкой занавеской. — Хорошая поговорка. Не врёт, не льстит. Не сулит, что будет сладко, — сулит, что будет ровно. А перетёртое, заметь, уже не болит. Перемолотое не спорит. Народ ведь зря языком не мелет.

Она знала эту его привычку наизусть — говорить пословицами, будто раздавал сдачу чужой монетой. В детстве принимала за стариновское. Потом догадалась: броня. Скажешь своё — отвечай сам. А спрячешься за «народ» — и нет говорящего, есть хор, попробуй ухвати в хоре одно горло. Он и прятался. И — она это тоже однажды поймала — он их подтачивал. Брал

тёплое, кухонное, с детства знакомое, и поворачивал на пол-оборота, так что снаружи всё та же бабушкина присказка, а внутри уже блестит лезвие, и ты режешься прежде, чем успеваешь понять, на чём.

Странно было другое: что она вообще это понимала. Этих присказок давно не было слышно в городе — ровный язык Эфира их вычистил, как вычистил всё лишнее, и люди вокруг говорили гладко, одинаково, без двойного дна, потому что и дна никакого не держали. А она слышала. И слышала второй слой — лезвие под мягким, — будто в ней одной остался слух на это, какой-то непрочищенный участок, куда не достали. Иногда Ариадна думала: откуда у меня вообще эти мысли? Почему я ещё умею вот так — вслушиваться, ловить подвох, видеть шов? Все разучились. Я нет. И не знала, дар это или недоработка.

— Ты сегодня хорошо говорила, — сказал он, садясь.

И всё. Разговор начался. Чай был только предлогом не начинать его стоя.

Эфир она помнила телом. «Путь к Совершенной Гармонии», который весь город обязан смотреть, её лицо на всех стенах сразу — она, спокойная, объясняет, что Настройка не кара, а высшая забота. Помнила, как держала под столом кулак, до белизны, чтобы голос не дрогнул. И годами утешалась этим кулаком: вот оно, моё, тайное, то, чего камера не достаёт. Свободная рука под столешницей. Маленькая, личная, никому.

— Я читала текст, — сказала она. — Слово в слово.

— Слово в слово. Только на «заботе» голос уронила. На полтона. Будто себя уговариваешь. — Он подул на чай, и пар качнулся. — В «Тишине» это заметили. Сеть подросла на одиннадцать процентов за вечер. — Он помолчал, любуясь цифрой, как иные любят дочерью.

— На воре, говорят, шапка горит. На честном горит ярче, дочь. Вор хоть знает, что прячет, и стережётся. А честный полыхает и сам не возьмёт в толк, отчего на него весь город обернулся.

Чай пах дымом и какой-то травой, которой она не знала названия и не спрашивала никогда, чтобы не лишать себя одной нерасшифрованной вещи в этом доме.

— Ты так говоришь, будто я сделала это нарочно.

— А нарочно?

Тихо. Между двумя глотками. Как спрашивают, не сквозит ли от окна.

И вот тут пол ушёл. Не страх — страх она знала вдоль и поперёк, страх был горячий, живой, с ним можно. Это было холодное. Это было как шагнуть на ступеньку, которой нет, на своей же лестнице, в темноте, где каждую выемку знаешь на ощупь, — и провалиться в пустоту между.

Потому что она не знала.

Голос на «заботе» — да, она его уронила, помнила само движение, мягкий спуск в горле. Но решение? Помнила ли она, как решает? Или горло осело само, потому что где-то в ней, в той части, которую двадцать лет назад наладили в белой комнате, было прописано загодя: здесь урони голос, здесь дай им трещину, в которую они тебя полюбят.

— Не понимаю, о чём ты, — сказала она и услышала, до чего ровно это вышло. И похолодела от собственной ровности — ровной была речь оптимизированных, тех, кого уже перетёрли.

Отец смотрел на неё. Без выражения, которому она нашла бы имя. А под воротником, на шее, тонкий и давно побелевший, заныл шрам — здесь он всегда ныл, в этом кабинете и больше нигде на свете. Врачи звали это памятью тканей, фантомом, говорили — ничего живого, рубец и рубец. Но он просыпался под отцовским взглядом, и она давно перестала верить, будто тело глупее головы.

— Тебе было шесть, — сказал отец, и видно было, что ответил он не ей, а шраму. — Ты за обедом спросила, отчего люди на улице улыбаются одинаково. — Он покачал головой, и в этом качании дрогнуло что-то почти живое, какой-то давний, плохо зашитый испуг.

— Иной отец от такого вопроса седеет между супом и вторым. Дочь второго в городе человека спрашивает при прислуге, не нарисованы ли все вокруг. Дивно. Оставалось распахнуть окно да крикнуть на площадь, чтоб уж наверняка.

— И что ты сделал.

— Доел. — Ровно. — А после сделал, чтоб такие вопросы тебе больше не резали. Слово не воробей — вылетит, не поймаешь, это всякий знает. — Он поднял на неё глаза, и в них не было ни торжества, ни тепла, одна голая точность. — А я тебе скажу, чего не знают. Само слово не поймаешь. Зато можно поймать того, в ком оно вот-вот вылетит. До того. Тихонько. Это, как выяснилось, и дешевле, и милосерднее. Других детей с такими вопросами проглядели — и забрали совсем, с концами. Я предпочёл проглядеть сам. Понемногу. Своей рукой. Своя рука — она хоть и режет, да своя.

— И ты называешь это — проглядеть?

— У этого сто слов, выбирай любое. — Он отпил. — Тише едешь — дальше будешь. От кого едешь — не спрашивают, а зря. От себя же вчерашней и едешь, дочь. Ты ведь не помнишь, как тебе было больно от тех улыбок на улице. В том всё и дело. Кто старое помянет — тому глаз вон; а кто не помянет — тому два, потому как стоит на пустом и думает, что на камне. Ты не поминаешь. Стоишь ровно. — Он развёл руки ладонями вверх — не фокусник в конце номера, а человек, показывающий, что взять с него нечего, пусто. — Не веришь мне сейчас — вот тебе и вся справка, что получилось. Болело бы — верила бы.

Внизу, далеко под окном, разом погас и снова занялся целый квартал — синхронная рябь по сетке улиц, будто кто-то моргнул городом. Перебой. Их в последние недели зачастило. Одни говорили — калибровка. Другие — ЛАД. И то, что город вообще принялся говорить разное, само было новостью почище перебоев: ещё год назад он не говорил. Он соглашался.

— Готовится одна трансляция, — сказал отец, и голос его сел на рабочую, короткую ноту, и она почти обрадовалась перемене — так радуешься, когда врач отнимает ласковость и берётся за дело. — Большая. Каких давно не было. Прямой эфир — не запись, заметь, это принципиально, живьём, на весь мир, разом. — Что-то почти мальчишеское, азартное проступило в нём, та редкая искра, что загоралась в отце только перед хорошо придуманным ходом; так, верно, загорается режиссёр, или тот, кто пишет, перед сценой, которая, он уже знает, разорвёт зал. — Год работы. Всё сходится в одну точку, в один вечер, в один прямой эфир. Люди запомнят это надолго. Очень надолго.

Он смаковал это, не называя, что именно, и не нужно было называть: видно было, что он любит не целью, а исполнением, чистотой замысла, тем, как ладно ложится ход к ходу.

Она не спросила, о чём он. Знала, что не ответит прямо, — и что в самой этой недоговорённости и есть половина его удовольствия.

— Кронос хочет, чтобы вела ты, — сказал отец, и посмотрел на неё поверх чашки. — Вся надежда на тебя, дочь. Лучше тебя этого не сделает никто. — Он помолчал. — Я бы предпочёл, чтоб ты отказалась.

И она едва не восхитилась — до того ладно была сшита ловушка. Хотя что именно ей предлагали вести, она так и не узнала: отец не назвал, а спросить — значило показать, что ей не всё равно. Но она своё ремесло знала. Знала, как готовят такой эфир, чем он будет, для чего собирают в одну точку весь город, прямым включением, живьём: так не объявляют праздник. Так показывают. Кого-то — всем, в назидание. И от того, с каким тихим восторгом отец перекачивал во рту это своё «запомнят надолго», по спине у неё шёл холод догадки, которую она не давала себе додумать до конца.

А ловушка была в том, что хода не было. согласишься вести — станешь рукой, исполнишь, чего сама ещё не знаешь. Откажешься — стало быть, у тебя причина, стало быть, что-то в тебе сопротивляется, стало быть, ты и есть та, в ком эта причина живёт, — а это уже улика. Он не оставлял хода, который не лёг бы ему в выигрыш. Он вообще не оставлял — даже в шашки,

даже когда ей было восемь и он поддавался, но поддавался так, с таким мастерством отмеряя свой проигрыш до единого хода, что она потом полночи не спала от гордости за победу, которую он выдал ей, как выдают паёк.

И тогда она сделала то, чего — ей хотелось верить — не было в её карте, потому что это не было ни бунтом, ни покорностью, ни даже выбором между ними.

Она отставила чашку. Не отпив. Поставила в самую середину стола, ровно между ним и собой. И не сказала ничего. Не «да». Не «нет». Не «дай подумать до утра». Тишину. Гладкую, без единой зацепки тишину, в которую отец — она видела, как чуть сузились его глаза, как он впервые за вечер потянулся за тоном в её голосе и не нашёл тона, потому что не было голоса, — не сумел ничего вложить. Он ждал. Ждать он умел; ожидание было его второй профессией, а может, и первой.

И — она это поймала, и сердце у неё толкнулось — на тишину у него не нашлось поговорки. Народ скуп на присловья о молчании; молчание народ не жалуется, в нём ни за кого не спрячешься, оно одно на всех и у каждого своё. Она увидела, как он перебирает свой хор и не находит в хоре нужного голоса, и это было первое за весь вечер, что у него вышло не гладко.

— Чай простынет, — сказал он наконец. Без поговорки. От себя. И оттого, что от себя, у неё защемило сильнее, чем от всего сказанного раньше.

— Простынет, — отозвалась она. И опять замолчала.

Свободна ли она — она не знала. И поняла в эту минуту с какой-то спокойной, почти облегчающей ясностью, что не узнает уже никогда: это знание ей не выдано по устройству, как цвет не выдан прибору, который умеет цвет называть, измерить, разложить — и не увидеть. Но одну вещь она заметила и держала теперь под рёбрами, как держат под столом сжатый кулак. Отец читал её всю жизнь — её и весь народ её устами. А тишину не прочёл. Ни он. Ни хор за его спиной. Значит, была щель.

Её ли это щель — или ещё одна, прорезанная нарочно, чтоб она думала, будто нашла сама, — она по-прежнему не знала. Но впервые за все годы, которые она вообще помнила — а помнила она себя только лет с шести, дальше, вглубь, память обрывалась гладко, как обрезанная, — впервые ей хватило того, что щель есть. Без справки, чьей рукой прорезана.

Внизу опять моргнул квартал — дольше, темнее, словно город задержал дыхание. И отец, против всех своих обыкновений, обернулся к окну первым. Долго смотрел вниз, на гаснущую и оживающую рябь. И обронил — тихо, не ей, а стеклу:

— Вода дырочку найдёт.

Ариадна не стала спрашивать, о чём он. О свете внизу. О городе. О ней. О том, что заваривалось сейчас в самом низу башни, под всеми этажами, в железной тишине серверов, и чего он, со всем своим слухом, ещё не называл вслух.

Глава 4. Угл 62

А внизу, куда отец смотрел из своего окна, шёл дождь. Тот самый — несанкционированный, незванный, собиравшийся весь вечер. Он наконец пролился, и не по часам, и город, привыкший к дождю расписанному, растерянно мок: вода шла по стеклу подвесных переходов, стекала с перемычек, барабанила по тенту над эскалатором, и редкие прохожие задирали головы — то ли проверить, не сбой ли, то ли просто потому, что мокрое лицо ни один эфир не отменял. Ки шёл этим дождём вниз — с яруса на ярус, всё ниже, туда, где город переставал быть витриной и становился изнанкой. Наверху, на жилых этажах, всё блестело и держало тон; но чем ниже, тем облезлее, тем живее: гасли вывески «Гармония-то» и «Оптимум-сё», подсветка каналов сменялась тусклыми лампами, эскалаторы шли с натугой, погромохивая, и пахло уже не озоном кондиционеров, а водой и ржавчиной. Те, кого тут звали «нижними», жили у самой земли, и наверху это слово роняли с лёгкой брезгливостью, а Ки спускался сюда, как ныряют из душной комнаты в прохладу: тут можно было дышать. И — мигнуло. Разом, по всей сетке улиц: фонари, экраны, подсветка каналов погасли на полсекунды и зажглись опять, рябью, будто город моргнул. Перебой. Их зачастило в последние недели; наверху, в кабинетах, эту же рябь сейчас разглядывали из окон и звали кто калибровкой, кто — САЦИ. Здесь, внизу, на неё никто и головы не поднял — мигнуло и мигнуло, привыкли. Ки на миг сбился с шага, переждал темноту, пошёл дальше. До «Угла» оставалось два поворота. «Угл 62» работал всегда. И это было единственное в городе, о чём никто не мог сказать «с каких пор».

Всё остальное имело начало: ЛАД включили тогда-то, Эфир запустили тогда-то, Настройку ввели для блага. А «Угл» просто был — приземистая забегаловка на углу, где сходились два опустевших проспекта, с вывеской, которую не меняли так давно, что никто уже не помнил, светилась ли она когда-нибудь. И он не закрывался. Никогда — ни ночью, когда город отдавали ЛАДу и всем полагалось спать в ладу, ни под утро, ни в эфирные часы обязательного просмотра. В городе, где у всего был режим, «Угл» работал вне режима, круглые сутки, как работает то, что забыли выключить. И подросток мог прийти сюда в любой час и застать тот же пар, тот же гул, тех же кого-нибудь за конусом. Время над ним было не властно так же, как над его началом. Говорили — заведение До Эры. Единственное доподлинно доконфликтное место, которое не сожгли, не оптимизировали, не переименовали в «Гармония-что-нибудь», а просто оставили работать, будто забыли. Кто его держит, кто пускает, почему его не трогают — не знал никто. И именно поэтому сюда стекались все.

Ки толкнул дверь, и в лицо ему ударило тёплым: пар, запах специй — разных, незнакомых, каких в городе не нюхал, и ни одной нельзя было назвать, — гул живых голосов, не выровненных ни одним эфиром. Здесь пахло едой, которую готовят, а не выдают из стены.

— Опаздываешь, — сказал Лок, не поднимая головы от стола, заваленного салфетками, исписанными его мелким почерком. — Я уже третью теорию без тебя похоронил.

Лок сидел на их месте, у дальней стены, под инсталляцией. Он был из тех, кого Ки звал «головастые»: сын функционера, из хорошей башни, с чистым «Согласием» и доступом туда, куда Ки не пускали. И при этом единственный из «верхних», кто Ки нравился. Лок понимал, что мир устроен абсурдно. Понимал умно, подробно, с цифрами. Просто понимал это головой — как понимают теорему, — а не тем местом в груди, которым Ки ныл и не умел объяснить.

— Садись. Бери, остынет. — Лок пихнул к нему конус.

Конусы были фирменные, «угловые»: треугольная лепёшка, свёрнутая ровно под тем самым углом — шестьдесят два градуса, Лок как-то измерил транспортиром и был счастлив неделю, — открытая сверху и набитая чем-то вроде крема или пасты, густого, тёплого. Их ели не спеша, откусывая сверху. Пили бульон. Только бульон да супы-пюре, ничего твёрдого, что надо грызть; Ки однажды подумал, что даже еда тут «ровная» — текучая, тёплая, не требую-

щая зубов, — но в «Угле» это почему-то не злило, как злило наверху. Потому что у неё был вкус. Разный, не тот один-единственный тёплый никакой привкус, что лежал поверх всякой еды в городе, сколько её ни меняй. Здесь не сыпали «Оптимум плюс». Здесь бульон был похож на бульон, зелёный суп горчи́л, а острый обжигал по-настоящему, и каждый раз по-другому. Назвать эти блюда было нельзя — у них и названий-то не было, ни в одном меню, ничего, что перескажешь словами; их можно было только вкушать и узнавать языком. В городе, где у всего был ярлык, тут стояло безымянное и живое. Ки иногда думал, что одно это — что у супа есть вкус — уже тянет на преступление.

— Воду будешь? — Лок кивнул на бутылку с выцветшей этикеткой «Равновесие». — Только учти. — Он понизил голос, придвинулся, глаза заблестели. — По одной версии, владелец льёт в неё «Ровный». Микродозу. Чтобы все тут такие добренькие и сидели. По другой — он принципиально не льёт, и «Угл» поэтому единственное место в городе, где ты пьёшь честную воду. — Лок откинулся, довольный. — И вот что красиво: проверить нельзя. Не узнаешь никогда. Пьёшь и не знаешь — то ли тебя ведут, то ли наконец-то нет.

— А ты как думаешь? — спросил Ки, отпив.

— А я не думаю, — сказал Лок весело. — Я коллекционирую. Думать — это уже выбирать сторону, а за сторону знаешь что бывает. Я просто собираю теории. Их у меня про «Угл» штук сорок. Что это бункер. Что владелец — последний живой человек До Эры, которому двести лет. Что отсюда есть ход в старые туннели. Что ЛАД сам не знает про это место, слепое пятно у него тут. — Он постучал по салфеткам. — Бред, конечно. Все теории бред. Но красивый.

Он говорил это легко, посмеиваясь, и Ки понимал, зачем легко: тяжело — это уже не в ладу, это жёлтый браслет, это вопросы. Лок держал всё это как игру, как коллекцию марок, ровно на той безопасной глубине, где увлечение ещё не становится несогласием. Теории заговора, рассказанные с улыбкой, — самый ладный бунт, какой бывает. Бунт, с которого нечего взять.

— О, кстати. — Лок оживился, подцепил новую салфетку. — Свежак. Батя вчера домой пришёл, рассказывал. Он-то ходит на Собрание, его пускают. — Он произнёс это с тем особым полупридыханием, с каким сын у самой двери чужого мира ловит крохи: не вхож, но рядом, подслушивает. — Меня туда, ясно, и на порог не пустят, мал ещё и не при чине. Но батя иногда сболтнёт. Это у них там, у верхних, сходка такая. Закрытая. Раз в сколько-то. Продают друг другу всякое.

— Что продают? — Ки жевал, вполуха.

— А вот непонятно, и в этом весь смак. — Лок понизил голос, придвинулся, в своей стихии. — Батя сам толком не объяснил, он жмот на подробности, я не в него. Но, говорит, там не только вещи. Там... — он пошевелил пальцами, ища, — ...ещё и чувства, что ли. Чьи-то. Записанные. Представляешь? Сидит зал в золоте, и им впаривают чей-то, не знаю, плач. Или смех. И они за это быются, как не знаю кто. Батя говорит, за какой-то один кусок отдали столько, что мне на три жизни хватило бы. — Лок откинулся, сияя дикостью истории. — Во дают, а? С жиру бесятся. Им скучно так, что они чужое нутро покупают. Сытые, у них всё есть, вот и... — Он покрутил пальцем у виска. — Сороковая теория, считай. Самая большая: чем выше — тем пустее, и тем дороже им чужое настоящее. — Хохотнул. — Бред же. Но красивый.

Ки пожал плечами — богатые далеко, у него своя боль, поближе. Но что-то в Локовой дичи — «чужое нутро покупают», «чем выше, тем пустее» — на секунду задело тихий звук в груди, непонятно, мимоходом, и забылось.

Кафе вокруг жило. За соседним столом три девчонки играли в «предел»: задирали друг дружку, спорили, хохотали. И косились на браслеты, у кого «Согласие» ближе подберётся к жёлтому. Кто доводил до самой кромки и не свалился в жёлтый — тот выиграл, тот смелый, тот «почти расстроился, но удержался». Игра с огнём на длину спички. Одна, самая отчаянная, под визг подруг растянула браслет и сняла совсем — на десять секунд, на пятнадцать,

сколько хватило духу, — голое запястье, никакого тона, никакого надзора, запретная нагота; потом торопливо защёлкнула обратно, потому что снятый браслет — это уже не игра, это нарушение, за голое запястье приходят. Девчонки визжали от ужаса и восторга. У дальнего стола двое мальчишек неумело знакомились с двумя другими, и весь их флирт шёл через браслеты: стукнулись запястьями, перекинули контакты, музыку, мелкий платёж за конус «я угощаю»; браслет был и кошелек, и связь, и поводок, всё разом, и они флиртовали через поводок, не замечая поводка. Ки смотрел на всё это и любил — той тоскливой любовью, какой любишь то, что вот-вот, чувствуешь, отнимут. Обычные. Живые. Играют с краем, не зная, что край настоящий.

Народ в «Угле» был всякий, и в этом тоже была его странность. Больше всего подростков — здесь они держались чуть свободнее, чем где-либо, голоса погромче, смех позлее, браслеты пожелтее, и никто не одёргивал. Но не только. У стойки горбился старик, каких в оптимизированном городе будто и не осталось, — пил свой бульон молча, час, два. Забрёдал работяга с нижних, грел руки о стакан. А иногда — Ки давно приметил — заходили и сверху. Из тех, по кому видно: дорогой костюм, чистый-чистый браслет, ровная осанка человека с высоких этажей. Заходили будто случайно, бочком, пряча лицо, словно завернули по ошибке. Брели конус, выпивали бульон торопливо, в углу, и так же тихо исчезали, и было в них что-то воровское, жадное, будто они приходили сюда не есть, а урвать глоток чего-то, чего наверху, в их стеклянной чистоте, взять было негде. Ки не знал, чего. Просто отмечал: тянет их сюда, вниз, как и его. А почему, ни они, ни он сказать бы не смогли.

За стойкой управлялся всего один — немолодой, неприметный, из тех лиц, что не запоминаются: вытирал стаканы, разливал бульон, намазывал на лепёшки тот самый густой крем, сворачивал их в конусы под их угол и придвигал через стойку. И всё молча, без эфирной приветливости, без «хорошего дня в ладу». Ни имени его никто не знал, ни откуда он, ни хозяин он тут или такой же приبلудный. Он просто был при «Угле», как был при «Угле» пар и гул, — и так же, казалось, был всегда. Ки кивал ему, он кивал в ответ. На том всё знакомство и держалось, годами.

Над их с Локом столом тянулась инсталляция — пыльные стеклянные пластины, проволока, что-то ещё, никто не вникал. Но когда свет за окном падал косо, под определённым углом — может быть, под тем самым, угловым, — по стене вдруг начинали идти тени. Силуэты. Они двигались, перетекали, будто там, в пыльном стекле, кто-то жил и ходил. Подростки давно привыкли и не поднимали глаз. А Ки поднял — и тихий звук в груди, тот, слева, отозвался, коротко, непонятно, как отзывался на правду. Он не знал, что это и зачем. Никто не знал. Тени шли по стене и гасли, когда солнце сдвигалось, и снова это была просто пыльная железка.

А неподалёку от их стола, под стеклянным куполом, стоял он — тот предмет, на который Ки всегда смотрел дольше, чем стоило. Подростки звали его «старинный» — потому что для них он и был старинный, древний, непонятный: чёрный диск на чёрной коробке, тонкая изогнутая рука с иглой на конце, всё под пыльным стеклом, как реликвия, как кость в музее. Никто не знал, что это. То есть знали слово — «проигрыватель», — но не знали зачем: что диск должен вращаться, что игла должна его касаться, что из этого рождался звук, живой, тёплый, с потрескиванием, ничем не выровненный. Он стоял под куполом и молчал. Молчал, может быть, сто лет. Машина, созданная, чтобы звучать, разучившаяся звучать, забытая под стеклом в углу, и целый зал подростков ел свои конусы мимо неё, не зная, что вот эта мёртвая вещь когда-то делала ровно то, чего им всем не хватало и чего они не умели назвать.

Они с Локом ели — то молча, то перебрасываясь о чём попало, ни о чём; вечер тёк, гул кругом тёк, бульон грел руки. А потом, в какую-то паузу, Ки поднялся — сам не зная зачем, как поднимался всегда, — подошёл к стеклянному куполу и застыл над ним.

Ки смотрел на молчащий проигрыватель, и Камертон в нём ныл. Тихо. На всю эту забегающую, где живое притворялось обычным, где настоящее стояло под стеклом, забытое, где дети играли с краем, не зная края.

На передней панели коробки, под пыльным стеклом, когда-то было имя — название того, кто это сделал. Теперь от него остались царапины: кто-то соскоблил буквы, давно, тщательно, оставив только тень тиснения, призрак слова. Ки сощурился. Часть букв ещё угадывалась, если повести взгляд под нужным углом, — обрывок, начало, что-то на «V», что-то про голос; дальше затёрто в ноль. Будто имя нарочно стёрли — не от времени, а рукой, как стирают то, что не должно остаться. Ки и сам не знал, почему это царапнуло его сильнее, чем сам молчащий проигрыватель. Просто ныло чуть громче, когда он смотрел на затёртое место. Будто там, под царапинами, пряталось что-то.

— Ты опять завис, — сказал Лок. — На свою шарманку. Слушай, есть теория, что она играет по ночам, когда никого. Сама. — Он фыркнул. — Бред, ясно. Но красивый же? Кстати, никто не знает, кто её сделал. Имя кто-то стёр. Ещё одна теория: стёрли, чтоб не нашли, кто умел делать такой звук. — Лок постучал по виску. — У меня их сорок, я говорил.

— Красивый, — сказал Ки, не отрываясь от затёртого места. Он допил «Равновесие», так и не узнав, вели его сейчас или нет. Встал.

— Я к Лиле, — сказал он.

Лок скривился — без злости, привычно:

— К своей расстроенной художнице. Доиграешься ты с ней, Ки. — Он сказал это легко, как всё, но в глазах мелькнуло настоящее, головное беспокойство — то, которым он понимал, не чувствуя. — Она ж прям по краю ходит. Не по нашему, игрушечному. По настоящему.

— Знаю, — сказал Ки.

— Ну иди. — Лок уже разворачивал новую салфетку. — Если что — я тут. Я всегда тут. — И, не поднимая головы, тише, почти серьёзно, один раз за весь вечер не в игру: — Береги её. Таких больше не делают. Как мою шарманку.

Ки кивнул и пошёл к двери. У порога обернулся: Лок остался сидеть над салфетками, один, под молчащей шарманкой, и не торопился — ему и не хотелось торопиться. Ки знал почему. Локу домой было дальше и тяжелее, чем кому угодно тут: не вниз, как остальным, а вверх — на восемьдесят первый, в хорошую высокую башню, где чистый браслет и чистые коридоры. И чем выше поднимаешься, тем дольше тянется дорога и тем меньше хочется её начинать. Все нижние разбредутся по своим этажам за полчаса. А Лок будет ехать наверх долго, лифт за лифтом, всё выше, в свою правильную жизнь, и Ки иногда казалось, что Лок потому и сидит в «Угле» до последнего, до утра, что внизу ему легче, чем дома, — только он, в отличие от тех воровских людей из элиты, в этом бы ни за что не признался, а перевёл бы в шутку и сорок первую теорию.

Ки толкнул дверь, и дождь принял его обратно.

Он шёл к Лиле через мокрый, мигающий, поредевший к ночи город, и чем ближе подходил, тем громче звенело в груди. Потому что туда, к ней, он шёл единственной дорогой за весь день, на которой не надо было скрывать себя. Дождь стихал. Впереди, под эстакадой, уже теплился свет.

Лиля рисовала на стене, которую можно было, — и это Ки полюбил в ней первым, а понял слишком поздно: она всегда подходила к разрешённому вплотную, чтобы рисовать запрещённое.

Стена была санкционированная, под эстакадой, из тех, что отвели «свободному самовыражению в согласии»; на ней полагалось рисовать одобренное — мягкие узоры, зелёные спирали. Лиля водила углём поверх одобренного, и из-под спиралей проступал знак — галочка над кольцом «Согласия», острым жалом протыкающая его насквозь. Рисовала не таясь, в свете единственного живого фонаря, и пальцы у неё были чёрные по второй сустав. Рыжие кудри

она забрала наспех, как попало, несколько прядей выбилось; на бледном лице — россыпь веснушек, а глаза зелёные, быстрые, в которых всё время что-то жило и спорило. Ки вышел из темноты, увидел сперва эти чёрные пальцы, потом её всю, и Камертон в нём — тот, что весь вечер ныл в «Угле» на молчащую шарманку, — перестал ныть и зазвенел.

— А, это ты, — сказала она, и в голосе, не оборачиваясь, потеплело.

— Хорошо, что пришёл. Садись, не стой над душой.

Он сел на бетонный приступок и кивнул на её руку — на чёрный брусочек в пальцах, которым она водила по стене.

— Чем ты вообще рисуешь? — Ки правда не понимал. В городе выше ничего не рисовали руками: захочешь картинку — она течёт сама, по стене, по экрану, готовая. А этот чёрный обломок оставлял настоящий след, грубый, живой, и пачкал пальцы, и Ки никогда не видел, чтобы чем-то таким можно было провести черту. — Откуда это у тебя?

Лила усмехнулась, не отрываясь от стены.

— Уголь, — сказала она. И, помолчав, добавила тише, загадочно, будто пробуя, поймёт ли он: — Есть места, куда город не дотянулся. Где ещё осталось то, чем можно оставить след. Туда надо уметь спуститься. — Она провела ещё одну чёрную линию. — Найдёшь однажды — поймёшь.

Она дорисовала жало, отступила.

— Почему камертон? — спросил Ки, кивнув на стену. Слово это он давно носил в себе — им он звал то, что ныло и звенело у него в груди слева, — а что оно значит, так ни разу и не спросил. — Что это вообще — камертон?

— Этот знак и есть камертон, — сказала она, глядя на рисунок. — Другого никто не видел. Отец говорил: камертон — это компас. Когда всё врёт, врёт даже твоя башка, потому что её настроили, — есть одно место, до которого им не дотянуться. Они до всего дотянутся — до памяти, до лица, до голоса. До этого — нет. — Она прижала чёрный палец к груди слева, к сердцу, подержала. — Сюда вход не им. Тут тихо, и в этой тишине слышно, что правда. — Перегнулась, прижала тот же палец к груди Ки, оставив чёрную точку.

— У тебя тут громко. Ты весь как открытая струна, тебя задень — гудишь.

— Где он сейчас, — спросил Ки. — Твой отец.

Лила пожала плечами, и плечо дёрнулось резче, чем для «не знаю».

— Где все. Ушёл в согласие. — Достала наушники, два, на одном проводке, и воткнула их в тот самый чёрный носитель, что Ки нёс с собой весь этот день, через весь город, в кармане. Один наушник сунула себе, другой протянула ему. — На. Тихо только. Нельзя же. — И усмехнулась тому, как это звучит — «нельзя», — будто само слово было смешным.

В ухо ему ударила музыка — не из Эфира, не выровненная; гитара, злая, рваная, голос не в ноту, прекраснее всего ровного, что Ки слышал. Та самая, живая. Под неё нельзя было быть в ладу. Они сидели плечом к плечу, делили одну струну, и Ки впервые за вечер — за все дни — не держал лицо, потому что рядом был человек, при котором лицо можно снять.

— Слышишь? — сказала Лила тихо. — Вот это они и забрали. Не свободу даже. Вот это. Чтоб никто не гудел. Ровные не гудят. — Повернулась к нему, и зелёные глаза её горели тем живым, упрямым светом, какого ни у кого в городе не было. — Я не перестану, Ки. Пусть забирают. Лучше раз прозвенеть, чем всю жизнь молчать в ладу.

Ки хотел сказать — глупо, так тебя и заберут, тише надо, как все, — и не сказал, потому что это была бы речь его отца, а он сидел тут как раз затем, чтобы не быть отцом.

Фонарь над ними мигнул.

Просто мигнул — погас на полсекунды и зажёгся, как мигало в тот вечер всё в городе, рябью. Ки и не заметил бы. Но «Согласие» на его руке в ту же секунду дрогнуло, зелёный сорвался в алый. И в темноте над эстакадой проснулась холодная синяя точка. Вторая. Дроны. Они снижались беззвучно, из-под них пролился ровный белый свет, лёг на стену, на просту-

пивший камертон, и спокойный женский голос — тот же, что в браслете, в рекламе, всюду, — произнёс без выражения:

— Несанкционированное выражение. Образец расстроен. Степень — красная. Оставайтесь на местах. Это для вашего блага.

— Беги, — сказала Лида. Не себе. Ему. Она уже встала, спокойно, будто ждала этого годами. — Тебе нельзя, чтоб тебя видели. Ты громкий. Тебя не починят — сотрут. Беги, дурак.

Смотрители вышли из света — двое, в мягкой серой форме, без оружия, потому что оружие тревожит; шли к Лиде как к ребёнку на карнизе, протянув руки, с лицами заботы. «Не сопротивляйся, — сказал один тепло. — Тебе помогут. Тебе станет хорошо». Ки рванулся, и второй перехватил его поперёк, без злобы, мягко и страшно сильно, держа, как держат не врага — имущество.

И Лида, которую брали под руки, которую уже вели в белый свет, сделала единственное, что могла, и не от страха, а назло, — запела. Своим голосом. Живым, кривым, не в ноту, тем самым, каким когда-то пела мать Ки до того, как её прибрали, — запела ту злую песню из наушника, в голос, в лицо ровному белому свету, и Камертон её — Ки слышал всем существом — звенел сквозь крик так, что у него самого в груди отозвалось до боли. Смотритель поморщился — не от громкости, а будто звук задевал что-то, чего не должно быть. Голос из ниоткуда повторил твёрже: «Степень красная. Подавить рецидив». Что-то коротко свистнуло, песня оборвалась на середине ноты, Лида обмякла, её понесли, белый свет погас, дроны ушли вверх. Стало темно и тихо. И только фонарь горел ровно, как ни в чём не бывало.

В его свете Ки стоял на коленях на бетоне. Не помнил, как Смотритель отпустил, как поднялся, как побрёл потом через весь ночной город домой, не разбирая дороги. Один наушник так и остался у него в ухе, и из него всё шла её музыка — та самая, живая, рваная, — играла как ни в чём не бывало, ему одному теперь, и от этого было так, будто Лида ещё рядом, ещё звучит, хотя её уже несли куда-то в белом свете. Он шёл и слушал и почти ничего вокруг не видел. В руке он держал то, что осталось: её разбитое «Согласие», которое она сорвала и бросила к его ногам за миг до песни, — браслет с расколотым зелёным глазком, мёртвым. И чёрный носитель, из которого ей в ухо больше не зазвучит ничего, а ему — звучало. На стене над эстакадой темнел недорисованный камертон, протыкающий такой же мёртвый зелёный глаз. Песня. Точка угля на куртке. Мёртвый браслет в руках. Он не плакал. Камертон в нём не плакал — он гудел, низко, страшно, на одной ноте, как задетая струна, которую некому обновить. Как он дошёл до дома, как поднялся, как открыл дверь — Ки не помнил; очнулся уже у себя, в темноте, стоящим посреди комнаты, не помня, сколько так стоит. Наушник всё ещё был в ухе, и музыка всё ещё шла, тише, на последнем издыхании носителя. В одной руке он сжимал её мёртвое «Согласие» с расколотым зелёным глазком, в другой — чёрный носитель, тёплый от его же ладони. Он не стал зажигать свет. Не стал ничего делать. Сил не было ни на что — ни на мысли, ни на слёзы; всё в нём выгорело и оставило только гул.

А в тот же час, на другом конце города, в «Угле», который не закрывался никогда, расходился под утро последний — Лок. Он один задержался дольше всех, как задерживался всегда, и, уходя, поглядел на молчащий под стеклянным куполом проигрыватель — на свою шарманку, которую никто не умел заводить, — поглядел, как смотрел на неё всегда, ничего не зная ни про эту ночь, ни про Лиду, ни про то, что друг его сейчас бредёт домой пустой и оглушённый. Просто поглядел и зачем-то задержался ещё на секунду — будто почти услышал что-то в этой тишине. Потом мотнул головой, сунул руки в карманы и пошёл к себе, наверх, долгой своей дорогой. А Ки повалился на кровать как был, в куртке, в ботинках, с её вещами в кулаках, лицом в подушку. Где-то в груди, слева, всё гудела и гудела задетая струна, низко, на одной ноте, и под этот гул, не отпуская ни на секунду, Ки наконец провалился — не в сон, а в тёмную яму без снов, куда падают, когда больше не могут.

Глава 5. Тишина 1.01 alpha

Ки проснулся оттого, что в кулаке было твёрдое.

Он не сразу понял, где он и почему лежит одетый, в куртке, поверх одеяла. Тёплый утренний свет стоял в комнате ровно, как всегда. Тихо гудел вентилятор, впуская в комнату аккумуляторный, просчитанный воздух нового дня, — город запускался, как запускается отлаженный механизм, бесшумно и точно. Стена тихо вещала: голос обещал к полудню прояснение, мягко предупреждал о плановых ремонтных работах на нижних уровнях — «возможны кратковременные перебои, сохраняйте спокойствие, всё под контролем», — и переходил к чему-то ещё, ровному, неважному. Всё было как всегда. И от этого «как всегда» на секунду стало почти хорошо, пусто, будто ничего и не было. А потом он разжал кулак и увидел, что в нём, — её разбитое «Согласие», расколотый, прежде зелёный глаз, мёртвый, — и всё вчерашнее обрушилось на него разом, целиком, как обрушивается вода, когда выдернут затычку.

Холодный свет прожекторов с дрона. Песня, оборванная на середине ноты. «Беги, дурак». Её, обмякшую, уносят, и свет гаснет. Ки лежал и переживал это, как переживают приступ. А когда схлынуло настолько, что можно было дышать, осталась — следом за болью — скользкая, почти спасительная мысль: а было ли? Может, не было. Может, приснилось. Так не хотелось, чтобы было, что на секунду он почти поверил, будто не было.

В кулаке лежал мёртвый браслет. Было.

И ещё одно. Браслет был мёртвый — расколотый, потухший, такой не должен ничего; но пока Ки на него смотрел, он вдруг вздрогнул и мигнул. Слабо, через силу, будто из последних сил. Три коротких всполоха, подряд. Потом три подлиннее. Потом опять три коротких — и погас, и снова стал просто мёртвой тёмной вещью. Ки моргнул, не поверив. Подождал. Браслет молчал. Показалось, наверное. В разбитой вещи закоротило, дёрнулось и затихло — что ещё. Он сжал его в кулаке и пошёл завтракать.

Он встал. Умылся. И вот что он заметил, вытирая лицо: «Согласие» на его собственном запястье ровно, спокойно зеленело. Просто зелёное. Ки замер, глядя на него. Эта штука у него никогда так не держалась — браслет вечно дёргался, плыл к жёлтому, к оранжевому, жил своей нервной жизнью, не совпадая ни с ним, ни с правилами; отец давно ворчал, что надо бы свозить его на проверку, такой тон ни в какие нормы. А сегодня — ровный, чистый, зелёный, как у всех. Как будто за ночь кто-то его наладил. Ки потряс рукой — будто это могло что-то изменить. Зелёный держался. Странно. Но думать об этом не было сил, и он пошёл завтракать.

За столом было как всегда. Отец жевал, проглядывая проекцию. Мать разогрела. Эль считала вилки. На стене шёл утренний Эфир — лёгкий, обтекаемый, для аппетита.

«...а теперь к городским новостям, — говорила стена приятным голосом. — Вчера в нижнем секторе силами поддержания согласия пресечён инцидент: задержана несовершеннолетняя, допустившая несанкционированное выражение в общественном пространстве. Никто не пострадал. Среда восстановлена. Благодарим Смотрителей за оперативность».

И — кадры. Короткие, гладкие: знакомая стена под эстакадой, недорисованный камертон, Смотрители, белый свет. Лилу выводят из кадра.

Ки перестал дышать. Потому что он смотрел на эти кадры — и видел стену, видел Смотрителей, видел Лилу. А себя — не видел. Его там не было. Он стоял в той сцене, в двух шагах, его держали за плечи. А в кадре его не было, будто вырезали, будто и не стоял. Камера прошла там, где был он, и его не оказалось. Холодок прошёл по спине, и следом — та же скользкая мысль, уже привычная за это утро: может, и правда не было? может, его там и не было? Он зажмурился. Открыл. Кадры уже сменились.

— Безобразия, — сказал отец проекции, не отрываясь. — Довели ребёнка. Родители недосмотрели.

Ки услышал, как у него самого начало вырываться — тихо, не сдержавшись:

— Да у неё и отец сам...

Хотел сказать — из «Согласия», из тех, кого «вывели», как Ки слышал краем уха, шёпотом, ещё давно; хотел и осёкся на полуслове, сам испугавшись, куда повело. Сжался: вот сейчас. Сейчас браслет дёрнется, мать испугается, отец нахмурится. Но ничего не дёрнулось. Браслет на его руке остался ровно-зелёным, будто Ки сказал «передай соль». Никто и головы не поднял. Слова упали в тишину и пропали, словно их не было — и словно его самого тут, как в тех кадрах, отчасти не было.

А стена уже сменила тон на бодрый, и поплыла реклама — мягкие лица, тёплый свет:

«Тревога заразна. Не ждите срыва близкого человека. Запишите своих родных на Настройку — прежде чем они запишут себя сами. Забота начинается дома».

Эль, не отрываясь от вилок, повторила за стеной, нараспев:

— За-бо-та на-чи-на-ет-ся до-ма.

И тут отец оживился. Но не от рекламы и не от слов Ки — он, оказывается, всё это время краем глаза приглядывал за сыновним запястьем, как приглядывал годами, с тихой досадой, ожидая увидеть привычный жёлтый сбой. А увидел зелёное. Ровное, чистое, держащееся.

— Ки. — Отец впервые за утро посмотрел на него прямо, и в глазах его было что-то почти растроганное. — Тон-то у тебя выправился. Гляди-ка. Ровный. — Он отложил вилку. — А я уж думал тебя на проверку записывать. — Помолчал, и сказал теплее, чем говорил обычно, тем редким голосом, каким говорил про остров: — Спасибо тебе. Я ведь вижу — ты взялся. Ради нас. Ради поездки. Все четверо в зелёном — и нас включают, я тебе говорю. Ты молодец, сын. Понял наконец, что к чему.

Ки смотрел на отца, на его благодарное, помолодевшее лицо, и не знал, что сказать. Отец радовался. Искренне, горячо — тому, что сын наконец «как все». А Ки не делал ничего. Он не выправлял тон. Он вообще не понимал, почему зелено. И от отцовской благодарности за то, чего он не делал, стало совсем нехорошо, мутно, как от вранья, которое не ты сказал, а которое сказалось само.

— Ага, — выдавил он. — Понял.

И весь день потом эта мысль ходила за ним: а вдруг правда? Вдруг он и впрямь стал как все, выправился, сам того не заметив, — стал ровным, мёртвым, зелёным, и скоро будет считать вилки и повторять за стеной? Почему зелено? Почему вычеркнут из кадра? Что с ним делается?

Он ушёл из дома, чтобы не думать, — и думал на ходу. Город жил своей ровной утренней жизнью, и Ки шёл сквозь неё и впервые смотрел не на город, а на людей в нём. Раньше как-то не приглядывался. А теперь приглядывался — и видел: все ровные. Не печальные, не весёлые — ровные. В лодке напротив женщина везла ребёнка, и ребёнок молчал, и женщина молчала, и оба смотрели прямо перед собой с одинаковым спокойным никаким лицом. На площади двое говорили — и не спорили, не смеялись, просто обменивались словами, как передают предметы. Старик кормил рыб у канала, и даже у него на лице было то же ровное ничто. Все зелёные. Все в ладу. И Ки шёл среди них со своим непонятным зелёным огоньком на руке и думал: вот, теперь и я такой. Снаружи — такой же. Зелёный, ровный, как они. И от этой мысли по нему продирало холодом сильнее, чем от всех прожекторов вчерашней ночи.

А над площадью, на большом экране, всё крутилась та же реклама — мягкие лица, тёплый свет, — и голос ещё раз, для всех, ласково повторял про заботу, которая начинается дома.

Он думал о носителе. Тот лежал дома в ящике, под вещами, — её носитель, с её музыкой. И чем больше Ки о нём думал, тем сильнее его точило одно: а только ли музыка там? Носитель — это ведь не просто песни, это вещь, в которую можно что-то спрятать, подписать, оставить. Что, если там, за музыкой, есть ещё что-то — её, для него, нарочно? Эта мысль засела и не отпускала. Но проверить он не мог: слушать — слушал, наушниками, как слу-

шали они с Лилой, воткнув прямо в носитель; а вот подключить к экрану, чтобы заглянуть внутрь, открыть, посмотреть, что там кроме музыки, — не выходило: у носителя был старый, ему незнакомый разъём, под который у Ки ничего не подходило. Он вертел эту мысль и так и эдак — и не знал, как быть.

С Локон он встретился на завтра, на пятидесятом, где самые красивые каналы и широкая площадь с парком — они часто там сходились, на середине пути между его низом и Локовым верхом. Сидели у воды. Ки, оглядевшись, достал носитель — показал, не отдавая.

— Слушай. Тут разъём... старый какой-то. Мне надо подключить к экрану, а нечем. Не знаешь, чем такое цепляют?

Лок взял, повертел, поднёс к глазам, посерьёзней — он всегда серьёзней над железяками, это было единственное, над чем он не шутил.

— О. Это древность. Это тебе переходник нужен, под старый разъём. — Он почесал нос. — Слушай, а ведь у нас дома такой валяется. Батя когда-то приволок, с какого-то старья, всё руки не доходило выкинуть. Лежит в ящике, как мусор, никто и не знает, что это. Я-то знаю — я всё знаю. — Он вернул носитель. — Притащу. Завтра тут же.

Прошла ночь. Ки лежал, держал в одной руке мёртвый браслет Лилы, смотрел в зелёный огонёк своего «Согласия», ровный, чужой, и не понимал ни себя, ни огонька. А браслет Лилы в другой руке — снова. Вздрыгнул в темноте, мигнул. Три коротких. Три долгих. Три коротких. И тьма. Ки приподнялся, вгляделся. Подождал. Через какое-то время — опять, тот же узор, ровно тот же: коротко-коротко-коротко, долго-долго-долго, коротко-коротко-коротко. Не случайный сбой — повтор. Слишком ровный, слишком одинаковый, чтобы быть поломкой. Это был узор. Рисунок. Кто-то нарочно сложил эти вспышки в порядок и пустил по кругу — значит, это что-то значило, значит, это был код, послание, сжатое в свет, которое кто-то слал, упрямо, снова и снова, из мёртвой вещи в его ладони. Ки смотрел на повторяющиеся всполохи, и под рёбрами слева гудело сильнее. Он не умел это прочесть. Но понимал главное: это не поломка. Это — зов. Кто-то звал, а он не понимал куда и о чём, и от этого было невыносимо.

Назавтра, на том же месте у воды, Лок сунул ему в ладонь маленькую вещицу — потёртый штырёк-переходник, лёгкий, ничей.

— Держи. Работает, наверное. Никто никогда не втыкал — но это точно он. — И, помолчав, без всякой шутки, тихо, глядя на воду: — Ки. Ты только... в свой экран не суй. Который к городу подключён. Всё, что втыкаешь в городскую сеть, оно... видит. Понимаешь? Захочешь посмотреть — найди какой-нибудь глухой, отключённый. Целее будешь.

Ки кивнул. И ничего не сказал. Потому что уже знал — глухого экрана у него нет, а ждать, искать, тянуть он больше не мог. Дома он дождался ночи.

Мать вошла к нему без стука. Она редко заходила. Постояла в дверях, в халате, с прибранным лицом, и Ки спрятал браслет под одеяло — поздно, она увидела. Но не сказала про браслет. Сказала, глядя мимо:

— Я слышала, как ты не спишь. — Пауза. — Твой тон по ночам...

— У меня тон ровный, мам, — сказал Ки тихо. — Папа же сказал. Зелёный.

— Днём, — сказала мать. И запнулась, будто сама удивилась, что сказала. И Ки увидел, как «Согласие» на её запястье дрогнуло из зелёного к жёлтому и обратно, и как она это почувствовала и заторопилась договорить ровно: — Прими «Ровный». Тебе станет спокойнее.

— А тебе спокойнее, мам? — спросил Ки. Без вызова. — По-настоящему?

Мать молчала дольше, чем длится ответ. Где-то под прибранным лицом, под жёлтой искрой на запястье, кто-то опять подошёл к окну — Ки видел это, видел, как ей хочется сказать что-то, чего она сама себе давно не разрешала, — и не сказала. Окно закрылось. Она поправила ему одеяло, как маленькому, и от этого старого, настоящего движения у Ки сжало горло.

— Спи в ладу, — сказала она и ушла.

И в этом «спи в ладу», сказанном её голосом, в котором когда-то, на острове, была живая фальшивая песня, было столько непролитого, что Ки понял: всё. Больше так нельзя. Нельзя просыпаться, есть приправу, светиться чужим зелёным, смотреть, как мать запирает в себе окно, и завтра снова всё то же. Это не жизнь. Это ровная, аккуратно застеленная смерть.

Он дождался, пока в доме всё стихнет. Выдвинул ящик. Достал носитель, Локов переходник. И придвинул свой экран, обычный, тот, что был подключён к городу, как всё в этом доме.

Он держал переходник и думал о том, что сказал Лок. Всё, что втыкаешь, оно видит. Сунешь — и где-то там, в железной тишине, что-то моргнёт, отметит, запомнит: вот он, мальчик, что не в ладу, вот его имя, вот его дом. Он подвергал себя риску — риску раскрыться, быть замеченным, отмеченным, внесённым в какой-то список, из которого приходят Смотрители. Он понимал это ясно, как никогда. И всё равно вставлял переходник в носитель, а носитель — через переходник — в свой, городской, всевидящий экран, потому что иначе было нельзя, потому что её больше не было, чтобы остановить, потому что под рёбрами слева гудело и гнало вперёд, и этот гул был сильнее страха.

Экран ожил. Музыка была вся на месте, вся живая. А в самом низу, за песнями, прятался какой-то файл — не из тех, что он знал, с длинным, странным, не по-здешнему составленным названием. Ки открыл.

И не сразу понял, на что смотрит.

Экран не двигался. В мире, в котором Ки вырос, изображение всегда жило: текло, моргало, сменялось, дышало, как Эфир, как всё вокруг, — картинка была рекой, её нельзя было остановить. А эта — стояла. Замерла. Будто кто-то схватил Эфир за горло и держал, и он застыл на одном-единственном кадре и не двигался дальше. Ки даже тронул экран, думая, что заело. Не заело. Просто картинка стояла и не собиралась никуда течь.

Их было несколько, этих стоячих картинок, — Ки понял не сразу, что их можно перелистывать. Каждая — кусок мира, пойманный и остановленный навсегда. Тёмный проспект, один из тех опустевших, у самой земли. Стена. Угол с какой-то старой меткой. Ржавая дверь под лестницей. Пожарный спуск, уводящий куда-то вниз, во тьму. Кто-то когда-то прошёл этим путём и остановил его по шагам, кадр за кадром, чтобы другой смог пройти следом, — Ки смотрел на эти застывшие куски ночи и постепенно понимал: это не картинки. Это дорога. Снятая, остановленная, разложенная на шаги дорога туда, вниз. А поверх первой картинки стояло имя самого файла — то самое длинное название, которое он и открыл, только теперь Ки прочёл его как слова:

Стеклянное небо треснуло? Ищи трещину изнутри.

Он листал застывшие кадры — проспект, стена, дверь, спуск — и узнавал, куда это ведёт: вниз, под ровный зелёный город, на те мёртвые нижние проспекты у земли, где, говорили, ещё кто-то гудел не в ладу. Это был путь. Снятый на стоячие картинки, которых в этом мире не бывает, — и оттого ещё вернее настоящий.

Туда, где была «Тишина».

Ки смотрел на строку, и Камертон в нём всё гудел, и впервые этот гул был не только болью. Он был ещё и направлением.

Он не пошёл в ту же ночь. Закрыв экран, спрятал носитель, переходник, лёг. Но теперь в темноте было иначе: не яма без дна, а край, с которого завтра предстояло шагнуть. Он лежал, смотрел в ровный зелёный огонёк на своём запястье — чужой, непонятный, подаренный неизвестно кем и зачем, — и знал, что пойдёт. Решение уже было принято — не разумом, а тем местом в груди, которым он не умел не слышать. Оставалось дожидаться утра.

Так кончилась его зима.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.